

ПЁТР

ПАЛИЕВСКИЙ



ПУШКИН

И ТАЙНЫ РУССКОЙ КУЛЬТУРЫ

Кто мы? (Алгоритм)

Пётр Палиевский

Пушкин и тайны русской культуры

«Алисторус»

2023

УДК 82-311.6-93
ББК 63.3 (2)

Палиевский П. В.

Пушкин и тайны русской культуры / П. В. Палиевский —
«Алисторус», 2023 — (Кто мы? (Алгоритм))

ISBN 978-5-00180-820-6

В этой книге собраны ключевые произведения выдающегося русского культуролога, историка литературы Петра Палиевского. Среди его героев - Александр Пушкин, Николай Гоголь, Михаил Булгаков. Понять и осмыслить их - значит, понять Россию. Крупный учёный, Палиевский обладал умением писать «легко о трудном». Он поможет нам раскрыть тайны русской культуры. В формате PDF A4 сохранен издательский макет книги.

УДК 82-311.6-93

ББК 63.3 (2)

ISBN 978-5-00180-820-6

© Палиевский П. В., 2023

© Алисторус, 2023

Содержание

| | |
|-----------------------------------|----|
| Об этой книге | 6 |
| Прикосновение к Пушкину | 7 |
| Анна Керн | 19 |
| Конец ознакомительного фрагмента. | 21 |

Пётр Палиевский

Тайны русской культуры



© ООО «Родина», 2022

© Палиевский П.В.

Об этой книге

Перед вами – самая главная книга уникального мыслителя и замечательного человека, непревзойденного знатока русской культуры. Жизненный путь Петра Васильевича Палиевского (1932–2019) начинался с трагедии. Ребёнком, в годы Великой Отечественной, его угнали в Германию вместе с младшим братом и двумя сёстрами. Одна из них – Юлия – впоследствии вспоминала: «В лагере Петя работал на лесопилке, чуть не потерял ногу, шрам так и остался навсегда. С окончанием войны и освобождением из лагеря бывшие заключенные нищенствовали, мы, дети, просили милостыню у местных крестьян, бауеров. Пете удалось проучиться несколько месяцев в местной школе, где сразу проявились его способности, его ставили в пример нерадивым ученикам. Когда мы вернулись домой, он поступил в седьмой класс советской школы и закончил ее с золотой медалью. По логике тех лет, раз мы находились в оккупации и не погибли в концентрационном лагере, мы – «предатели Родины». Выжили мы только благодаря поистине самоотверженной помощи Тихона Михайловича и Ивана Михайловича Палиевских, братьев отца, а для Пети – дяди Тиши и дяди Вани. Полярный летчик и полковник Советской армии, они, рискуя собственной карьерой, взяли нас под защиту, прежде всего нашли нам жилье и работу для отца. Однако вплоть до радикальных политических перемен восьмидесятых годов мы продолжали жить в страхе под угрозой разоблачения».

Но его судьбой стала русская литература, которую он любил и знал тонко и досконально. Окончив филологический факультет МГУ, Петр Васильевич поступил в аспирантуру Института Мировой литературы имени А.М. Горького – и работал в его стенах до конца жизни. Он был другом, единомышленником, а нередко и оппонентом Вадима Валериановича Кожинова. И не менее крупным мыслителем, открывшем новые ракурсы исследования русской культуры.

В этой книге собраны его работы, посвящённые Пушкину и Золотому веку русской культуры. Феномен Пушкина Палиевский считал центральным для отечественной цивилизации. Не менее интересны его работы, посвящённые Шолохову и Булгакову – писателям, которых, во многом, именно Палиевский открыл массовому читателю.

Отдадим должное замечательному радетелю за русскую культуру!

Евгений Тростин

Прикосновение к Пушкину

Пушкин родился 26-го мая (6 июня) 1799 г. в Москве, в Немецкой слободе, «во дворе коллежского регистратора Ивана Васильевича Скворцова». Примерно в тысяче пятистах метрах отсюда, в доме генерал-майора Ф. Н. Толя у Красных ворот, родился через пятнадцать лет Лермонтов. Сосредоточение для одного угла земли, может быть, и удивительное, но сам Пушкин точному месту своего появления на свет значения не придавал. Нет никаких свидетельств, чтобы он навещал его, интересовался им или искал его во время многочисленных своих наездов в Москву. Не помнили его и родственники, так что понадобились разыскания двух веков, чтобы установить, где именно располагались владения И. В. Скворцова, сослуживца отца, который предоставил убежище кочевавшей по городу семье Пушкиных. Таких «дворов» оказалось два: один, состоявший из трех строений, стоял среди садов и огородов у ручья Кукуй, давно заключенного в трубу; другой чуть поодаль, на скрещении улиц; и наконец был еще один дом, также поблизости, где квартировался сам Скворцов. В котором из них раздался первый крик новорожденного, доказать бесспорно пока не удалось.



Пётр Палиевский

Неизвестно, помнил ли Пушкин и церковь Богоявления в Елохове, где через две почти недели, 8 июня, его крестили. Каких-либо следов его внимания к ней тоже не сохранилось, и сама запись о его рождении была обнаружена в ее метрической книге студентом Московской духовной семинарии в 1879 году. Тем не менее, ее связь с жизнью Пушкина, начиная с названия, осталась, как и многое в России, в мире далеких, недосказуемых, но внятно ощутимых соответствий. Она с той поры никогда уже, ни в переделках, ни в гонениях не закрывалась, а

после того, как революция вернула России патриарха, стала с середины 30-х годов кафедральным собором Москвы.

Из конкретных обстоятельств своего рождения Пушкин выделял лишь то, что это был день Вознесения, – поскольку вообще считал это событие Священной истории для своей жизни знаменательным (например, в феврале 1831 г. состоялось венчание его в церкви Вознесения у Никитских ворот с Натальей Гончаровой).

День этот был в 1799 г. теплым и праздничным; по всей Москве гудели колокола во главе с Иваном Великим, – в 1786 г. в этот же день родилась дочь императора, Мария Павловна, сестра будущих царей Александра I и Николая I, с 1804 года – Великая герцогиня Саксен-Веймарская. Ее кружок в Веймаре станет выдающимся центром общения русской и немецкой культур, где будут подолгу гостить Жуковский, Тютчев, В. Ф. Одоевский, многие славянофилы; через его посредство Гете, по стойкой, хотя документально не подтвержденной легенде, пошлет Пушкину свое перо и четверостишие-приветствие, воздающее «всю ту хвалу, которую ты заслужил».

Никогда не высказывался Пушкин и об имени, которое ему дали. Двоюродный дядя, в то время военный, писал о том, что это сделали в его честь. Исследователи больше склонялись к Александру, архиепископу Константинопольскому, – по ближайшему к крестинам Пушкина его дню в православном календаре, – 2 июня; в XX веке стали даже выводить родство и имя Пушкина, путем сложных генеалогических сцеплений, к Александру Невскому. Что, однако, Пушкин достоверно ценил и частью чего себя ощущал, это душу родного города, его особенное место в истории, жизненный уклад.

Москва стояла на семи холмах, и народная пословица определяла ее положение так: «Новгород – отец, Киев – мать, Москва – сердце, Петербург – голова». В каждом читалась своя задача, например, в Петербурге – рациональная и упорядочивающая сила; но внутреннюю потаенную связь начал, и необъяснимое присутствие в одном типе жизни «всего» Москва оставляла за собой. Быть сыном Москвы для Пушкина означало многое. По свидетельству друга, П. А. Плетнева, «он и Дельвиг всегда гордились этим преимуществом, утверждая, что тот из русских, кто не родился в Москве, не может быть судьей ни по части хорошего выговора на русском языке, ни по части выбора истинно русских выражений». При случае Пушкин мог высказаться еще сильнее: «В Москве родились и воспитывались, по большей части, писатели коренные русские, не выходцы, не переметчики, для коих *«ubi bene, ibi patria»* («Где хорошо, там и Родина» – прим. П.П.), для коих все равно: бегать ли им под орлом французским или русским языком позорить все русское» (прямо в этот раз подразумевался Булгарин). Но главным оставалось, конечно, не отвержение, а именно идея общительной связи, собирания, стягивающего все из далекой глубины ядра.

Незадолго до войны 1812 года Москву посетила знаменитая на переходе веков женщина, гонимая Наполеоном Жермена де Сталь; Пушкин высоко ее ценил и не раз потом на нее ссылался. Она застала «допожарную» Москву, какой ее знал и в ней выросал, готовясь уже ее покинуть, Пушкин. «Невольно сравниваешь Москву с Римом, но не потому, что она имеет сходство с ним в стиле своих зданий, этого нет; но удивительное сочетание сельской тишины и пышных дворцов, обширность города и бесчисленное множество церквей сближает Рим Азии с Римом Европы».

Не заботясь о сторонних мнениях и живя по-своему, Москва действительно напоминала видевшим ее впервые какой-то иной «мировой город» и странным образом подтверждала представление о «третьем Риме». Сама эта идея, выдвинутая в XVI веке во Пскове монахом Филофеем, большинству населения, конечно, не была известна и практически не руководила здесь никем; о ней помнили и ее поднимали вместе с подложным «завещанием Петра I» скорее на Западе, в XIX веке и дальше, для доказательства «русской имперской угрозы». Но ощущение неподменной правды своего быта и его участия в проложении одной большой мировой дороги

держалось прочно. Москва издревле нашла некоторые способы совмещать несовместимое, и ко времени рождения Пушкина обнаруживала их достаточно явно.

Прозвище «большая деревня», принятое ею без каких-либо обид, говорило о соединении города с провинциальной, сельской, старобытной и всякой «прочей» Россией. Дворцы вельмож, поразившие Сталь, окруженные «службами», располагались по типу деревенской усадьбы, а домики среднего люда, закрытые садами, поглощали в обычае и приспособливали к себе отовсюду вторгавшуюся новизну. Улицы складывались, как придется, что отражалось и в их названиях (например, «Кривоколенный» переулок, в котором жил Карамзин). Еще через полвека известный автор «Двух гитар» Аполлон Григорьев писал, что в этих улицах и переулках «уж то хорошо», что они «расходились так свободно, что явным образом... росли, а не делались... Вы, пожалуй, в них заблудитесь, но хорошо заблудитесь». Технические достижения усваивались также достаточно быстро: так, первый московский водопровод 1804 года, использовавший подземную воду Мытищ, успешно проработал два века подряд. Но не они определяли существо творимой здесь истории. Это был город жизни, а не урбанизации, место встречи и соединения народных стремлений, – способный, какие бы контрасты ни раздирали его поверхность, проявить в решающий момент свою внутреннюю задачу и характер.

На картине художника Ф. А. Алексеева мы видим Красную Площадь 1801 года, какой мог обозреть ее двухлетний Пушкин. На выступах Спасской башни и прилегающей стене растет кустарник; стоит в победоносных позах группка «петиметров», тогдашней золотой молодежи, облаченной в новейшие европейские костюмы; шествует процессия с иконой, которой кланяется мастеровой, подпоясанный кушаком; бежит легкая, тонко сработанная карета, которая по тем времена дороже, чем нынешний «мерседес»; видны женщины и девицы в громадных русских платках, лотки; напротив – светлое, возведенное по последнему слову классицизма здание Торговых рядов Кваренги и т. п. И за всем этим, неслышно держит из глубины, согласует разнообразие Кремль, – как некий действительно положенный в основу «кремень», – сумевший, как мы знаем, доказать эту свою способность и в XX веке, когда, после сломов и расчисток реконструкций 30-х годов, он вынес наружу свои башни, в виде высотных зданий и Университета на горах, и вновь организовал, казалось, навсегда потерявшее единый облик пространство. Пушкинское ощущение Москвы было, конечно, не просто личным, а историческим.

Задумавшись над характером Пушкина, польский классик А. Мицкевич написал: «Ни одной стране не дано, чтобы в ней больше, нежели один раз, мог появиться человек, сочетающий в себе столь выдающиеся и столь разнообразные способности, которые, казалось бы, должны были исключать друг друга». Есть основания считать, что многие из этих качеств Пушкин почерпнул в уникальном складе родного города. Он мог осыпать Москву насмешками, тяготиться ею, даже бежать от давления ее «грибоедовских» тетушек сразу после женитьбы; но среди многих, слишком известных восхищенных о ней высказываний у него неизменно просматривается нечто скрытое, полностью не выразимое, берегаемое для себя. Так в вариантах II главы «Онегина», т. е. до окончательно сложившихся строк «Москва, я думал о тебе!», стоит: «Святая родина моя».

Интересно, что скитальческая жизнь Пушкина началась также в Москве. За время его долицейского здесь возрастания родители (подгоняемые, как впоследствии и их сын, недостатком средств) сменили десять квартир. Они успели еще свозить полугодовалого младенца в Михайловское и сразу после того, на год, в Петербург. Пушкин, таким образом, как бы предварительно объехал все три главные точки своего будущего местопребывания. Отсюда или нет – но движение сделалось его второй натурой, как он сформулировал это Нащокину в 1833 г.: «Путешествие нужно мне нравственно и физически». Мать, вообще не выносившая однообразия, не довольствовалась переездами. Она начинала менять мебель, назначение комнат, превращая кабинет отца в гостиную и т. п. Может быть, не без участия этих впечатлений, Пушкин

никогда не мог закрепиться безраздельно ни за одной из сторон калейдоскопической русской жизни, и на подобные вопросы отвечал: «Я числюсь по России».

В небольшом плане автобиографии, который Пушкин набросал около 1830 г., он чертил основные влиятельные линии своего детства. В первой строке этого наброска против «семьи отца» он написал: «воспитание – французы – учителя». Этим был обозначен еще один мир – европейского горизонта, как бы висевший в воздухе над исконной землей, заносивший сюда мировые веяния и влияния.

Их источник – Франция, глава только что завершенного XVIII столетия. Ее великая культура и мода как будто бы заслоняют взор. Друг дома поэт И. И. Дмитриев сочинил в 1803 г. о дяде Пушкина знаменитую шутивную поэму, замечательную тем, что в ней предсказано поведение Василия Львовича за границей еще до того, как он туда отправился.

«Друзья! Сестрицы! я в Париже!
Я начал жить, а не дышать!»

Ее цитируют иногда как пример легкомыслия Василия Львовича и пустой подражательности его «среды». Но в простодушном облике героя видно и стремление к тому, что действительно необходимо было усвоить.

«Какие фраки! панталоны!
Всему новейшие фасоны!
Какой прекрасный выбор книг!
Считайте – я скажу вам вмиг:
Бюффон, Руссо, Мабли, Корнилий,
Гомер, Плутарх, Тацит, Вергилий,
Весь Шакеспир, весь Поп и Гюм
Журналы Адиссона, Стиля...
И все Дидота, Баскервиля
Европы целой собрал ум!»

Если мы взглянемся в этот список, то кроме Мольера и Вольтера, слишком очевидных, чтобы их стоило тогда поминать, мы найдем все то, что поглощал с необыкновенной быстротой маленький Пушкин в библиотеке отца; и наверное, больше – например, «Шакеспира» и английских критиков, философов, значение которых он осознал много позже. Цель же и результат ученичества просматривались сквозь насмешливый тон рассказа:

«Ах! Милые, с каким весельем
Все это будем разбирать!
А иногда я между дельем.
Журнал мой стану вам читать.
Что видел, слышал за морями
Как сладко жизнь моя текла,
И кончу тем: обнявшись с вами,
А родина... все нам мила!»

Семья, в которой вырастал Пушкин, была вовсе не такой бездумной, как принято порой считать. Однокашник Пушкина по Лицею барон М. А Корф, став статс-секретарем и членом Государственного совета, называл отца Пушкина «бесполезным и праздным», С. П. Шевырев, ординарный академик и профессор – «человеком ограниченного ума».

Но эти оценки однобоки. Сергей Львович был действительно неприспособлен к казенной службе. Его заставляли в «присутственном месте» за чтением романа; он был рассеян, не замечал, как горит его трость, которой мешал в камине; Павел I, по семейному преданию, отдал ему на балу свои перчатки взамен забытых и т. п. Хуже того – он стал известен потом своей скупостью, мелочностью, и, не в пример сыновьям, пугливостью; был погружен постоянно во что-то свое. Но этим своим было у него искреннее обожание всего артистически совершенного, почти исчерпывающее знание высших образцов современной ему культуры и бескорыстное, беспретенциозное ей содействие.

Талантливый актер и безупречный по французскому выговору чтец новинок, он был первым участником домашних спектаклей у князя Н. Б. Юсупова, державшего собственный театр на Хомутовке. Эти домашние театры Москвы, – у И. Н. Зотова, князя Д. Ю. Трубецкого (который сам играл в нем на виолончели) и др. отличались взыскательностью в выборе европейского репертуара; современники гордились ими: «Старик князь Белосельский, бывший посланником в Турине, Плещеев-сын, Апухтин и Пушкин могли бы соперничать с лучшими парижскими актерами». Вместе с красавицей-женой («креолкой» по прозванию в обществе) Сергей Львович создал уж никак не богатством притягательный дом, где бывали Н. М. Карамзин, К. Н. Батюшков, И. И. Дмитриев и др., т. е. ведущие литераторы России. Свои дарования он вкладывал, как типичный москвич своего круга, в общение знакомцев, родственников и друзей. Но в этом кругу Сергей Львович был любим не только за остроумие, мастерство в составлении буриме, и как «человек, – по словам биографа, – необыкновенно находчивый в разговорах» (черта, несомненно, перешедшая к сыну), но как носитель, знаток и распространитель «духа времени». Дух этот был по преимуществу французским; оба брата Пушкины были франкофилами (Василий Львович именовал даже своего повара Власа «Блэз»), но улавливали они и передавали своим безусловно лучшее и высшее. И в своей библиотеке, кочевавшей, как впоследствии и пушкинская, с квартиры на квартиру, этот отставной майор и коллежский ассесор в самом деле «Европы целой собрал ум». Эта фраза И. И. Дмитриева предвещала черты пушкинского гения. Когда Пушкина приняли в Лицей, его первый товарищ Пущин убедился: «Все мы видели, что Пушкин нас опередил, многое прочел, о чем мы и не слыхали, все, что читал, помнил».

Наконец, в детской жизни Пушкина было еще одно начало, противостоявшее Москве и Европе одновременно. Это – Захарово, подмосковное имение, которое приобрела бабушка Мария Алексеевна, мать Надежды Осиповны, в 1804 году. По меньшей мере четыре лета, в 1805, 1806, 1807 и в 1809 г. проводит здесь маленький Пушкин. Впечатления, вынесенные им отсюда, также дорогие и заветные.

Здесь скончался в 1807 г. и похоронен за оградой в Больших Вязях его младший брат Николай, смерть которого поразила своей простотой: не понимая происходящего, мальчик показал ему, продолжая дразнить, язык. Здесь, по апокрифическим преданиям, он будто бы исписывал стволы берез своими стихами. Земля вокруг была пропитана историей. Здесь звонили ему колокола старинной звонницы (сохранившейся и поныне) времен Бориса Годунова; показывали, где стоял загородный дворец Самозванца, который посетила Марина Мнишек: в начале XIX века еще различались процарапанные на стенах церкви польские надписи. Местные названия – Чеканский ручей, Холопино (Хлюпино) перейдут потом на «литовскую границу» в «Борисе Годунове». Сюда действительно совсем не сентиментальный Пушкин придет перед свадьбой прикоснуться к началам своей жизни. Что именно, в каких подробностях запало ему в душу, останется также неизвестным. В год, когда Пушкина увезли в Лицей, Захарово, как будто исполнив свою задачу, было продано бабушкой «статской советнице Козловой»; и когда в начале XX века бросились искать реалии, от них остались в лучшем случае анкетные данные. Сам Пушкин, застав на месте только дочь покойной своей няни (1830), тоже скажет: «Все наше решилось... Марья все говорит, поломали, все заросло!» Перед юбилеем

1937 года были найдены по метрическим книгам в окрестных деревнях и в Москве многочисленные потомки Арины Родионовны, ничего не знавшие о своем родстве; их на всякий случай сфотографировали.

Но судить о главном восстановленные крохи все же позволяли. Через Захарово в Пушкина входила другая Россия, располагавшаяся как бы у подножия общества и не допускаемая наверх своей культурой, которая однако существовала не менее тысячи лет и давно сложила свои нормы, – Россия крестьянская. Здесь услышал он впервые голоса этого мира. Деревня была богатой, и в ней, по словам современников, «раздавались русские песни, устраивались праздники, хороводы», звучало прославленное им потом и постоянно приводимое в пример «народное красноречие». В Захарове был приставлен к Пушкину «дядька», зять Арины Родионовны, Никита Козлов, сочинитель «в народном духе» и преданный слуга, проводивший Пушкина до могилы. Бабушка, обладавшая, как вспоминал А. Дельвиг, великолепной русской речью, и няня познакомили его здесь с тем, что составит для него впоследствии важнейшее понятие «предания» (т. е. передаваемой из уст в уста истории, сохранявшейся таким путем живой). К 1823 году эти впечатления впервые сольются у него в одно созвучие эпитафии из Горация ко второй главе «Онегина»: «O, rus!» (т. е. «деревня» по латыни и «Русь» как нечто единое). Захарово закладывает невидимый фундамент его нового миропонимания, которое поднимется, к удивлению многих в Михайловском.

Таковы были три наиболее заметные силы, участвовавшие в формировании его души.

Они были, конечно, неравноценны, и в разное время оборачивались к нему неодинаково. Существовая вне Пушкина, эти силы слишком мало знали друг о друге, часто вовсе друг другом не интересовались, и каким образом сплавлялись в нем в одну дорогу, мог бы ответить только тот, кто был способен ему в душу заглянуть. Но так как это было невозможно, в детской биографии Пушкина мы встречаем, как правило, свидетельства в наблюдения правдивые, но односторонние. Таким осталось, например, мнение брата: «Вообще, воспитание его мало заключало в себе русского. Он слышал один французский язык, гувернер его был француз» и т. д. Приблизиться к единой правде можно лишь в сопоставлении этих разных свидетельств.

Тем более, что его складывающаяся личность не пропускала в себя чересчур любопытных. В детском поведении Пушкина естественно искали потом черты, из которых развился его гений; но они себя не выдавали, и если в чем-то открывались, то очень осторожно, косвенно, не желая отделяться в росте от других. Внутренний облик маленького Пушкина, судя по всему, что мы знаем о нем, был огражден от вторжений. Ребенок был скорее неподвижен, чем легок и быстр, как в отрочестве и дальше. Единственное, что можно определенно в нем увидеть, – это, что идет сосредоточенное поглощение всего, пригодящегося потом. Наиболее характерный эпизод: напряженное рассматривание, долго и молча, Карамзина, который пришел в гости к отцу. По словам Сергея Львовича, мальчик, отложив игрушки, «вслушивался в его разговоры и не спускал с него глаз». Видно было, что он чувствует исключительную духовную силу и впитывает в себя, постигает.

Эта способность умолкать, не тревожа его, перед важнейшим, сохранилась за ним и дальше. Лицейские товарищи тоже вспоминали, что на вопросы их он «отвечал обыкновенно лаконично». В молодые годы, по наблюдениям близко знавшего его офицера, Пушкин, встречая в ком-либо желание поставить его на место превосходящими знаниями и будучи вообще необычайно вспыльчивым, вдруг смирался. «Ловким спором» он «как бы вызывал противника на обогащение себя сведениями»; «хладнокровно переносил иногда довольно резкие выходки со стороны противника и, занятый только мыслью обогатить себя сведениями, продолжал обсуждение предмета».

В детстве черта эта сказывалась непонятным для близких погружением в себя. Пушкин как бы начинал, если судить по внешности, со свойств своего отца. От преследований пытавшихся ему помешать, он, как рассказывают, искал убежища в рабочей корзинке для вязания

своей бабушки, и там сидел, как в гнезде, наблюдая за происходящим. Мать приходила в отчаяние, будучи не в силах его растормошить, при этом маленький Пушкин добродушно сносил заслуженные насмешки. Известен эпизод, когда, присев подобным образом «отдохнуть» посреди дороги и заметив, что из окон над ним смеются, он поднялся со словами: «Ну, нечего скалить зубы!».

Рано сказались в Пушкине отличавшие его потом всю жизнь трезвость и хладнокровие в критические минуты. Рассказывали, как нашелся маленький Пушкин, когда в Захарове выбежала ему навстречу дальняя родственница, молодая сумасшедшая, которую вздумали по чьему-то совету лечить испугом и окатили водой: «Брат мой, меня принимают за пожар!». Он «спокойно и с любезностью начал уверять ее, что ее сочли не за пожар, а за цветок, что цветы тоже поливают». В другой раз, по рассказам помощницы няни, он снял подобным же образом напряжение вокруг крайне разобидевшейся сестры Ольги: «разыскал где-то гвоздик, да и вбивает в стенку. «Что это, спрашиваю, вы делаете, сударь?». «Да сестрица говорит, повеситься собирается, так я ей гвоздик приготовить хочу». Да и засмеялся, – известно, понял, что она капризничает, да и страшает нас только».

Насмешливость такого рода можно тоже считать типичной для Пушкина. Первый его биограф, знавший родных, отмечает, что «против шутки Пушкин не мог устоять» (т. е. удержаться от напрашивающейся насмешки): «это уже было почти семейным качеством». Сам Пушкин возводил это свойство, на примере Крылова, чуть ли не в ранг национальных особенностей русских («какое-то веселое лукавство ума, насмешливость»). Во всяком случае, Пушкин-дитя умел употребить его ко всеобщему удовольствию как наилучший выход из затруднений. Все тот же Иван Иванович Дмитриев, завсегда дома, как-то поглядывая на него при гостях, сказал: «Посмотрите, ведь это настоящий арабчик», – и получил без задержки ответ: «По крайней мере отличусь тем и не буду рябчик» (Дмитриев был рябым). Громовой хохот, с участием самого Дмитриева, сопровождал собравшихся весь вечер.

Среди выдающихся, заметных в нем с детства способностей называли еще память. Она была настолько быстрой и прочной, что он успешно отвечал вслед за сестрой уроки, не уча их, со слуха, пока не был в том изобличен и пристыжен.

Однако и память не помогала в одном. Ему никак не давалась математика; «он часто... особенно над делением, заливался горькими слезами» (свидетельство сестры). За этой чертой, которую замечали за ним и в лицее, казавшейся просто неспособностью, открылось впоследствии нечто в самом деле особенное, развитое исключительно как ни у кого другого: натура Пушкина не принимала «ненавистой розни мира сего» (идея Сергея Радонежского, которую, как считают, воспринял от него Андрей Рублев). Как никто другой, он слышал нерасчленимое начало жизни, подчинялся полному и безраздельному управлению этим началом каждой «частности» изнутри; и в его сочинениях никому потом не удавалось отрезать, отщепить какую-то отдельную мысль, к которой можно было бы свести другие. Невозможно было, как ни старались, отделить в нем поэта от прозаика, мыслителя от писателя, человека от творца; а в самой возможности расчленения, появления «частей», он угадывал незримые другим признаки смерти. «Музыку я разъял, как труп», – худшее, что мог совершить Сальери. Этот цельный способ существования мира и постижения его творческим умом он отстаивал неизменно и посягательства отклонял, – полагая своим долгом, даже без надежды на внимание, им отвечать. Так в 1828 году в «Отрывках из писем, мыслях и замечаниях», напечатанных Дельвигом в «Северных цветах», он отозвался на них предельно кратко: «Все, что превышает геометрию, превышает нас», сказал Паскаль. И вследствие того написал свои философские мысли!». Может быть, он не знал, что в других случаях Паскаль высказывался о математике в очень близком ему духе.

Трезвый склад ума с отчетливым зрением, исключавшим какое-либо двоение или призрачные наплывы, стал свойственен ему принципиально. Вначале он не был замечен

окружающим, т. к. перекрывался их увлечениями совсем иного рода: сентиментальными, мистическими, романтически-таинственными, «готическими» и проч. Старушка из баллады Жуковского, сидевшая за спиной всадника, воспринималась тогда многими буквально. В семье передавали, будто бабушка Мария Алексеевна увидела однажды на пустом стуле сидящего Сергея Львовича «с подвязанной щекой»; Надежда Осиповна якобы встречала на тверском бульваре «белую женщину», скользившую над землей и т. п. Пушкина никогда никакие видения на протяжении жизни не посещали. Если они являлись в его произведениях, то в моменты тяжелых душевных потрясений героев, неотделимые от этих состояний, и нигде не прорывали, так сказать, единую ткань жизни. Он верил «простонародным» приметам, пересказывал вещие сны, но опять-таки внутри прочерченного умом целого, и его мир, каким бы он ни был, в каких бы обстоятельствах ни выступал, оставался единым. Что еще наложило печать на характер ребенка, – и это отмечают большинство свидетелей, – особые отношения с матерью.

Сергей Львович обожал свою жену: родители были больше заняты друг другом, как и блистанием в свете, чем детьми. Брак их, заключенный по страстной взаимной любви (Надежда Осиповна приходилась Сергею Львовичу внучатой племянницей, и со стороны матери была также Пушкиной), был отмечен родством душ и до последних дней оставался завидно счастливым. Красота Надежды Осиповны, экзотическое происхождение от приближенного к великому царю арапа, делали ее достопримечательностью города. Свой круг поклонников (не страстных с кипящей кровью героев дуэльных историй, сколько «живущих жизнью века» – артистов, художников, державшихся в почтительном восхищении идеологов, как братья Тургеневы и т. п.) устраивал ее вполне; она чувствовала себя для этого окружения созданной. Ее миниатюрный портрет, выполненный графом де Местром, братом философа, подтверждает впечатление о ней современников: вскинутая голова, свободно выбившийся локон, удовлетворенно победный взгляд.

Детей она любила капризно и самовластно. Предпочтение отдавалось старшей дочери перед загадочным увальнем «Александром» (то, что его всегда называли в семье полным именем, без ласкательных оттенков, как, скажем, брата Левушку, тоже обращает на себя внимание). Ребенок был больше предоставлен себе, что, как выяснилось позже, пошло ему на пользу, и воспитало раннее «самостояние», но огорчений доставляло немало.

Сестра и брат боялись мать несравненно больше отца. Она умела долго играть в «молчанку», и наказания ее были изобретательны. Так, чтобы маленький Пушкин не терял платки, она пришила ему на курточку один в виде аксельбанта, объявив: «Жалую тебя моим бессменным адъютантом»; могла на целый день завязать ему сзади руки, отучая от привычки тереть ладони, и т. п.

Дети объединились. В какой-то мере недостаток близости восполняла ребенку сестра, и, конечно, няня. Проницательная А. П. Керн через полвека поделилась с поклонниками Пушкина следующим наблюдением: «Мне кажется, он никого не любил, кроме своей няни и потом сестры». Это «потом» относится к тому времени, когда Керн сама сблизилась с Ольгой Сергеевной (с 1826 г.). Но Пушкин адресовал ей стихи еще из Лицея, и их детский союз был для него первым, защищенным от посторонних глаз центром доверительного общения. Сестра стала первым слушателем и критиком его стихов, «драматических опытов», соучастницей игр и выездов на детские балы в доме соседей и родственников Бутурлиных, на танцы к Йогелю, где он встретит через двадцать лет свою невесту; посредницей по вращению в мир взрослых. Брат Лев, будучи слишком мал (р. 1805 г.), шел, естественно, в хвосте.

В остальном воспитание детей было передоверено случайным гувернанткам и учителям, набранным, как выразился первый биограф П.В. Анненков, «с разных концов света». Среди них оказалось немало таких, кто удивлялся по приезду в Москву, что не встречает на ее улицах волков; но находились и иные, как граф Монфор (его имя отметил в плане автобиографии Пушкин), носитель еще живого энциклопедизма XVIII века, или англичанка Белли, рано скон-

чавшаяся, которая успела приохотить сестру Ольгу к Шекспиру, особенно к «Макбету». Для Пушкина Шекспир тоже стал впоследствии прежде всего «творцом «Макбета», родственного по характеру Борису Годунову.

Интересным противодействием рационалистическим французским влияниям в доме (наводненным гостями-эмигрантами, как граф Бурдибур, Кашар, виконт Сент-Обен и др.) был преподаватель русского языка, арифметики и Закона Божьего дьякон А. И. Беликов. Как рассказывают, этот вполне светский человек умел отражать атеистические доводы французских собеседников их же оружием, насмешкой. Подаренное им сестре Ольге сочинение испанского автора, «обратившегося от заблуждений новой философии», она хранила до конца дней и передала сыну. Неизвестно, насколько повлияло это на будущее двойственное «стереоскопическое» понимание Пушкиным Вольтера и других деятелей Просвещения, но стало оно проявляться у него также с ранних лет, с Лицея.

Круг чтения подростка в библиотеке отца вряд ли ограничивался французами. В русской литературе только что возвысился, вослед Державину, друг дома Н. М. Карамзин. Он жил по соседству, в Кривоколенном переулке, а с 1810 г. также рядом, на Новой Басманной, и был центром сообщества, – с И. И. Дмитриевым, молодым Жуковским, А. Е. Измайловым и др., куда входили оба брата Пушкиных, боготворившие его. С 1802 года Карамзин издавал лучший журнал в России «Вестник Европы», его «Бедная Лиза» (1792 г.) была у всех на устах; с 1804 г. начал работу над первой, обобравшей источники русской Историей, тогда же готовил «Записку о древней и новой России», которую Пушкин тщетно пытался издать в 1836 г. Но главным для становления юного ума были его «Письма русского путешественника», публиковавшиеся с 1792 г. (первое полное издание вышло в 1801 г.).

В этом сочинении 23-летний русский впервые подвел итоги умственного развития Европы и дал первые ответы на вопрос, что они могут означать для России, вступающей в XIX век. С обдуманной целью, после исчерпывающей домашней подготовки, изучив языки, он перечитал новейшие труды европейских ученых, философов, писателей, и отправился, чтобы познакомиться с ними лично, «сверить часы». Предстояло убедиться воочию, так ли происходит все в их странах, как они о том красноречиво (поучительно или критически) пишут. Он объехал Швейцарию, Германию («Вчера после обеда был я у славного Канта, глубоко-мысленного, тонкого метафизика, который опровергает и Мальбранша и Лейбница, и Юма и Боннета»), Англию, стал свидетелем французской революции, составил обширный дневник, и, литературно его обработав, предложил соотечественникам глядящие вперед выводы своего опыта. Путешествия Василия Львовича и других были лишь увлеченными перепевами его открытий, и их новые впечатления, какими бы яркими они ни были, не выходили из пределов мысли Карамзина и его кругозора.

Зрелый Пушкин многое в «Письмах» пересмотрел и со многими не согласился. В частности, глубокий спор пошел у него с Карамзиным вокруг понятия свободы и о природе народности, – которую тогдашний Карамзин трактовал в духе абстрактно-просветительских и масонских представлений («Все народное ничто перед человеческим. Главное дело быть людьми, а не славянами» и т. п.)

Но следы чтения этой книги отпечатались в пушкинском уме так прочно, что сказывались потом всю жизнь, возможно и бессознательно. Например, в «Капитанской дочке»: «лучшие и прочнейшие изменения суть те, которые происходят от улучшения нравов, без всяких насильственных потрясений» (у Карамзина: «... «может исполниться неприметным действием времени, посредством медленных, но верных, безопасных успехов разума, просвещения, воспитания, добрых нравов. Всякие же насильственные потрясения губительны»); в рассуждениях о прозе: «Точность и краткость – вот первые достоинства прозы. Она требует мыслей и мыслей... Стихи дело другое» (у Карамзина: «под прикрытием рифмы более допустима небрежность... сочинение в прозе должно содержать больше зрелых мыслей»). Одна строка этой книги могла

дать толчок к рождению образа: «как дева русская свежа в пыли снегов!» (у Карамзина: «ни в какое время года россиянки не бывают столь прелестны как зимою» и т. д.). Через десятилетия отзывались у Пушкина суждения о Шекспире, которого Карамзин предпочитал французским трагикам и сам переводил. Запас, складывающийся у Пушкина от «быстрого чтения», был несомненно, не только французским.

На переходе в отрочество в Пушкине обнаружились контрасты, вполне типичные для его возраста и вызывавшие столь же типичное беспокойство близких. Вообще для всех, искавших потом в его характере черты исключительности, он открывался скорее усиленным проявлением здоровья и нормы, – способной удерживать разнообразие. Подруга бабушки оставила наиболее известный его портрет той поры: «Старший внук ее, Саша, был большой увалень и дикарь, кудрявый мальчик лет девяти или десяти, со смуглым личиком, не скажу, чтобы приглядным, но с очень живыми глазами, из которых искры так и сыпались... Не раз про него говаривала Мария Алексеевна: «Не знаю, матушка, что выйдет из моего старшего внука: мальчик умен и охотник до книжек, а учится плохо, редко когда урок свой сдаст порядком; то его не расшевелишь, не прогонишь играть с детьми, то вдруг так развернется и расходится, что его ничем не уймешь; из одной крайности в другую бросается, нет у него середины. Бог знает, чем все это кончится, ежели он не переменится».

Что касается стихов, то ими он тоже не слишком выделяется из обычая. Писали все: отец, дядя, писала сестра (тоже по-французски) – по сохранившимся образчикам не хуже брата, отчего имела полное право «освистать» его опыт комедии «Похититель», за то, что «бедняга автор списал его у Мольера» (стоит отметить, что эта первая из эпиграмм Пушкина была адресована себе). Стихи были языком салонного времяпровождения, одним из условий принадлежности к обществу; им свободно владели дамы; например, по словам современника, «племянница Хераскова А. П. Хвостова, подражая слогу Карамзина, написала премиленькую безделку: «Камин», который лежал на всех столах гостиных и кабинетов и который все с удовольствием читали» (Пушкин его поминал). «Для юношей и девушек, намеревавшихся блеснуть воспитанием». Стихи были столь же обязательны, как и музицирование.

Правда, маленького Пушкина уже отличали в этом самостоятельность и целеустремленность. Его не останавливают ни жестокая критика, которой подверг его шутивную поэму «Толиада» («Tolyade») гувернер Русло, имевший свои претензии на сочинительство, ни наказания матери, которой тот же Русло пожаловался на нерадивость воспитанника.

К моменту отъезда в Петербург мальчик стал известен среди сверстников и их родителей как имеющий «дар стихотворства». В нем отмечают даже критическое отношение к поэтическим вкусам времени. Вспоминали, как на вечере у тех же родственников Бутурлиных его окружили девочки с просьбами вписать что-либо в их альбом; он смешался. Тогда некто из близких знакомых, желая его подбодрить, прочел в доказательство его таланта какой-то уже известный его «катрен»; сделал он это в принятой в те времена торжественной манере высокой речи. «Певец-дитя» тут же убежал; его нашли в библиотеке графа, разглядывающим переплеты «сафьяновых фолиантов» и «в глубоком недовольстве собой».

«Поверите ли, этот господин так меня озадачил, что я не понимаю даже и книжных затылков». Между прочим, в доме Бутурлиных нашелся другой, непохожий на Русло, гувернер Реми Жилле (по-русски Еремей), который предсказал Пушкину великое будущее: «Дай Бог, чтобы этот ребенок жил и жил; вы увидите, что из него будет».

Скудость сведений о детстве Пушкина объясняется не просто тем, что мало кто такое будущее за ним предполагал. Дух времени вообще не жаловал детский возраст. Россия на переходе в XIX век жила нетерпением, желанием участвовать в общих переменах мира. Детство именовалось не иначе как «ребячество», а Пушкин добавлял еще «непростительное». Это потом, в совсем другую эпоху, хотя и расположенную рядом, Лев Толстой скажет: «счастливая, счастливая невозвратная пора детства». Возвращаться туда в пушкинские времена никому

не приходило в голову. Тот же Толстой, оглядываясь назад, видел в пушкинской поре всеми силами рвущихся из детства юнцов, вроде Пети Ростова. У Пушкина эти состояния передает вопрос жене старого «премьер-майора» в начале «Капитанской дочки»: «А сколько лет Петруше?» После чего сразу забываются и змей, и сладкие пенки варенья, а младенец сразу становится взрослым. Показательно, что у Пушкина в произведениях мы можем встретить на ходу помянутый «мальчишек радостный народ», некоего Ваньку в «Станционном смотрителе», которому тоже сказано: «Полно тебе с кошкою возиться», бегло обрисованного «шалуна лет девяти» Сашу в «Дубровском», но ни одного полновесного детского характера. Детей, разумеется, любили, но считаться с ними в стремительно менявшейся большой жизни не находили возможным, усматривая в них, со своим основанием, человеческую незрелость. Сохранилось следующее пушкинское суждение: «Злы только дураки и дети». Высшим благом признавали молодость, которую рекомендовалось не упустить («береги честь смолоду»), и зрелость.

Сами дети это понимали, были того же мнения, и остро переживали свое положение. Юный Пушкин не составлял среди них исключения, но явился скорее как и во многих других случаях, продвинутым вперед правилом. Стремление поскорее проскочить детство, набрав, что успеешь, для жадно ожидаемого дела, стало важнейшей причиной того, почему ни он, ни его близкие, подробностями его детских лет особенно не интересовались.

Вполне вероятно, что то же произошло бы и с отрочеством, если бы на его дороге не встал Лицей – совершенно новое для своей эпохи учреждение.

Анна Керн

В начале лета 1825 года (между 15 и 20 июня) в Тригорское явилась Анна Петровна Керн – наиболее прославленная после Н. Н. Пушкиной из женщин в пушкинской биографии.



Александр Пушкин

В лице Керн навстречу Пушкину шел достойный соперник в «науке страсти нежной» от другой половины человеческого рода, чего он не знал и как будто не предполагал, что такое может быть. Если в первые дни после сближения с ней он еще находил возможным в духе привычного в своем кругу молодечества писать Н. Раевскому, что «у женщин нет характера; у них бывают страсти в молодости; вот почему так легко изображать их», то за какую-то неделю ему пришлось убедиться, насколько прав был его эпиграф к «Онегину» – относительно «чувства превосходства, быть может мнимого», – и признать: «я так наглупил, что сил больше нет», «проклятый приезд, проклятый отъезд», «я вел себя с вами, как четырнадцатилетний мальчик».

В Керн можно было бы видеть предшественницу таких выдающихся женщин в судьбе русской литературы, как Авдотья Панаева – гражданская жена Некрасова, подруга Достоевского и затем на короткое время жена Розанова Аполлинария Суслова, М. Ф. Андреева, баронесса М. С. Будберг и другие, если бы не одно решающее отличие: она была лишена какого-либо честолюбия или претензии на общественную роль или влияние. Сила этого «ангела любви», как Пушкин назовет ее вскоре, многократно умноженная простодушием, искренней добротой и смелостью решений, была сосредоточена в одном. Обладая немалыми талантами, живой душой, чистым и ясным слогом (который вполне мог бы составить ей имя в литературе, о чем можно судить из ее воспоминаний), она была погружена всецело в «странности любви», «другого не знала разговора» и, как выяснилось, не находила себе в нем равных собеседников. Обезоруживало и ставило в тупик то, что, как она выразилась в приписке одного письма к Пушкину, она «любит искренно, без затей», следуя своему выбору бескорыстно и безоглядно. В сорокалетнем возрасте, снова сильно полюбив и будучи практически без средств, она лишила себя пенсии от недавно скончавшегося генерала, вышла замуж за человека, который был на двадцать лет моложе ее, – и оказалась, несмотря на бедность, совершенно счастлива.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.